

ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ



Григорій
Квітка-Основ'яненко



ПАН
ХАЛЯВСЬКИЙ

Григорій Квітка-Основ'яненко
ПАН ХАЛЯВСЬКИЙ

Часть первая

...Начинаю с начала, то есть от самого детства моего.

У наших батеньки и маменьки нас детей всего было: Петруся, Павлуся, Трофимка, Сидорушка, Офремушка, Егорушка и Сонька, Верка, Надежда и Любка; шесть сынков-молодцов и четыре дочки – всего десять штук... Мы, сыновья, получили имена, по-тогдашнему, по имени того дня, в который рождались; а дочерей батенька желали иметь по числу добродетелей и начали с премудрости... Были утешены, что уже, хотя в конце супружеской их жизни, явилась у них любовь. Несмотря ни на что, маменька все уверяли, что у них должен быть еще сын; но когда батенька возражали на это, что уже и так довольно и что не должно против натуры итти, но маменька, не понимая ничего, потому что российской грамоты не знали, настаивали на своем и даже открыли, что они видели видение, что у них будет-де сын и, коего должно назвать Дмитрюшею. Батенька поверили было, маменькиному видению, но по прошествии нескольких недель начали возражать, что маменьке явилось ложное видение. Маменька плакали (они были очень слезливы: чуть услышат что печальное, страшное или не по их чувствам и воле, тотчас примутся в слезы; такая была их натура) и уверяли, что точно должно быть у них сыну, но батенька решительно сказали: «Это у тебя, душко, мехлиодия!» Так батенька называли меланхолию, которой приписывали все несбыточные затеи. Тем и заключилось умножение нашего семейства к пользе благосостояния нашего.

Правду сказать, не все сынки были молодцы: один из нас, Павлуся, был горбат от неприсмотра нянек, которых за каждым из нас было по две, потому что батенька были богатый человек. Павлуся как-то оступился и упал с крыльца, а крыльцо было высокое; с него один наш Сидорушка – о! да и проворная же был штука! – мог только прыгать; следовательно, можете посудить, как оно было высоко! Так вот с этого-то крыльца Павлуся скатился вниз и повредил себя.

Няньки тогда не сказали маменьке, да уже на пятом году возраста его увидели, что у него горб растет сзади. Досталось же тогда нянькам! Я думаю, что если они живы еще, то и теперь помнят благодарность батеньки и маменьки за присмотр Павлуся.

Брат Юрочка и сестра Любочка были у нас последние. У всех нас оспа была натуральная, и мы из рук ее вышли не вовсе изуродованными. Но у последних брата и сестры оспа была прививная, о которой батенька прослышав, что она входит в моду, захотели привить своим детям. Для сего они приказали старому нашему Кондрату, – который, по наслышке, рвал зубы и оттого назывался «цылюрыком»^[1], – так этому медику батенька, растолковавши, как они об оспе слышали, приказали ему привить. Маменька плакала, убивались и несколько раз хотели сомлеть (что теперь называется – в обморок упасть), однако не сомлевали, а ушли в другую горницу и шепотом укоряли батеньку, что они тиран, живьем зарезывают детей своих.

Батенька этого не слыхали, а если бы и слышали, то это бы их не удержало. Они были очень благоразумны и почитали, что никто и ничего умнее их не выдумает; и маменька в том соглашалась, но не во всяком случае, как увидим далее...

Пожалуйте. Оспа пристала, да какая! Так отхлестала бедных малюток и так изуродовала, что страшно было смотреть на них. Маменька когда увидели сих детей своих, то, вздохнувши тяжело, покачали головою и сказали: «А что мне в таких детях? Хоть брось их! Вот уже трех моих рождений выкидываю из моего сердца, хотя и они кровь моя. Как их любить наравне с прочими детьми! Пропали только мои труды и болезни!» И маменька навсегда сдержали слово: Павлусю, Юрочку и Любочку они никогда не любили за их безобразие.

Нас воспитывали со всем старанием и заботливостью и, правду сказать, не щадили ничего. Утром всегда уже была для нас молочная каша, или лапша в молоке, или яичница. Мяса по утрам не давали для здоровья, и хотя мы с жадностью кидались к оловянному блюду,

в коем была наша пища, и скоро уписывали все, но няньки подливали нам снова и заставляли, часто с толчками, чтобы мы еще ели, потому, говорили они, что маменька с них будут взыскивать, когда дети мало покушали из приготовленного. И мы, натужась и собравшись с силами, еще ели до самого нельзя.

После завтрака нас вели к батеньке челом отдать, а потом за тем же к маменьке. Как же маменька любили плотно позавтракать и всегда в одиночку, без батеньки, то мы и находили у нее либо блины, либо пироги, а в постные дни пампушки или горофяники^[2]. Маменька и уделяли нам порядочные порции и приказывали, чтобы тут же при них съедать все, а не носиться с пищею, как собака-де.

Отпустивши прочих детей, маменька удерживали меня при себе и тут доставали из шкафчика особую, приготовленную отлично, порцию блинов или пирогов с изобилием масла, сметаны и тому подобных славностей. «Покушай, душко-Трушко (Трофимушка), – приговаривали маменька, глядя меня по голове:– старшие больше едят, и тебе мало достается». Управившись с этим, я получал от маменьки либо яблочко, либо какую-нибудь сладость на закуску и всегда с приказанием: «Съешь тут, не показывай братьям; те, головорезы, отнимут все у тебя». Такое отличие вразумило меня, что я маменькин «пестунчик» (любимец), что и подтвердилось потом. Но за что я попал в такую честь, хоть убейте меня, не знаю!.. Видно – по маменькиной комплекции.

Отдавши челом батеньке и маменьке, нас высылали в сад пробегаться. Дворовые ребятишки нас ожидали – и начиналась потеха. Бегали взапуски, лазили по деревьям, ломали ветви, и когда были на них плоды (хотя бы еще только зародыши), то мы тут же их и объедали; разоряли птичьи гнезда, а особливо воробьиные. Птенцам их тут же откручивали головки, и старым, когда излавливали, не было пощады...

Среди таких невинных игр и забав нас позовут обедать. Это всегда бывало к полудню. Борщ с кормленою птицею, чудеснейший, салом свиным заправленный и сметаною забеленный, – прелесть! Таких

борщей я уже не нахожу нигде. Я, по счастью моему, был в Петербурге – не из тщеславия хваюсь этим, а к речи пришлось – обедал у порядочных людей и даже обедал в «Лондоне», да не в том Лондоне, что есть в самой Англии город, а просто большой дом, не знаю почему «Лондоном» называемый, так я, и там обедая, – духа такого борща не видал. Где ты, святая старина!

К борщу подавали нам по большому куску пшенной каши, облитой коровьим маслом. Потом мясо из борща разрежет тебе нянька кусочками на деревянной тарелке и сверху еще присолит крупною невымытою солью – тогда еще была натура: так и уписывай. Потом дадут ногу большого жирнейшего гуся или индюка; грызи зубами, обгрызывать кость до последнего, а жир – верите ли? – так и течет по рукам; когда не успеешь обсосать тут же рук, то и на платье потечет, особливо если нянька, обязанная утирать нам рот, зазеваается. Посмей же не съесть всего, что положено тебе на тарелку, то маменька кроме того, что станут бранить, а под сердитый час и ложкою шлепнут по лбу: «Ешь, дурак, не умничай» – и перестанешь умничать и выскребаешь с оловянной тарелки или примешься выедать мясо от кости до последней плевочки. Спасибо, тогда ни у нас и нигде не было серебряных ложек, а все деревянные: так оно и не больно; тогда загудит в голове, как будто в пустом котлике.

После обеда батенька с маменькой лягут в спальне опочивать, а дети идут в сад, на улицу, лазят по деревьям, плетням, крышам изб и тому подобное. Когда же батенька и маменька проснутся, тогда позовут детей к лакомству. Тут нам вынесут или орехов, или яблоков, пастилы, повидла, или чего-нибудь в этом роде и прикажут делиться дружно, поровну и отнюдь не ссориться. Чего ж? Только лишь Петруся, как старший брат, начнет делить и откладывать свою часть, мы, постаршие, в крик, что он несправедливо делит и для себя берет больше. Он нас не уважит, а мы – цап-царап! – и принялись хватать без счета и меры. Сестры и меньшие дети, как обиженные в этом разделе, начнут кричать, плакать... Батенька, слышим, идут, чтоб

унять и поправить беспорядок, а мы, завладевшие насильно, благим матом – на голубятню, встали за собой и лестницу и, сидя там, не боимся ничего, зная, что когда вечером слезем, то уже никто и не вспомнит о сделанной нами обиде другим.

Что бы мы ни делили между собой, раздел всегда оканчивался ссорой, и в пользу одного из нас, что заставило горбунчика-Павлусю сказать один раз при подобном разделе: «Ах, душечки братцы и сестрицы! Когда бы вы скорее все померли, чтобы мне не с кем было делиться и ссориться!»

В полдник нам давали молоко, сметану, творог, яичницы разных сортов – и всего вдоволь. Потом, к вечеру, мы «подвечерковывали»: обыкновенно тут нам давали холодное жаркое, оставшееся от обеда, вновь зажаренного поросенка и еще что-нибудь подобное. А при захождении солнца ужинать: галушки вздобные в молоке, «квасок» (особенное мясное кушанье с луком, и что за превкусное! В лучших домах за пышными столами его не видать уже!), колбаса, шипящая на сковороде, и всегда вареники, плавающие в масле и облитые сметаной. Приказ от маменьки был прежний: есть побольше: ночью, мол, не дадут. Описав домашнее наше времяпровождение, не излишним почитаю изложить и о делаемых батенькою «банкетах» в уреченные дни года. И что это были за банкеты!.. Куда! В нынешнее время и не приснится никому задать такой банкет, и тени подобного не увидишь!.. А еще говорят, что все вдались в роскошь! Да какая была во всем чинность и регула!..

Когда батенька задумывали поднять банкет, то заблаговременно объявляли маменьке, которые, бывало, тотчас принимаются вздыхать, а иногда и всплакнут. Конечно, они имели к тому большой предлог. Посудите: для одного банкета требовалось курей пятьдесят, уток двадцать, гусей столько же, поросят десять. Кабана непременно должно было убить, несколько баранов зарезать и убить целую яловицу. Все же это откормленное, упитанное зерном отборным. Ах, какие маменька были мастерицы выкармливать птицу или, в особенности, кабанов! Навряд ли из теперешних молодых барынь-

хозяек знают все способы к тому, да и занимаются ли, полно, этою важною частью! Поверьте моему слову, что когда, бывало, убьют кабана – так у него, каналы, сала на целую ладонь, кроме что все мясо поросло салом! А птица – пальцем можно было разделить, а жир с нее во рту не помещается, так и течет!

Надобно сказать, что маменька не вдруг взялись к хозяйству, и сначала много было смешных с ними событий. Расскажу один чувствительный анекдот. Вскоре после замужества их с батенькою приехали к ним семья соседей только пообедать. Маменька, чтобы хорошенько их угостить, призвав кухаря домашнего, приказали ему зарезать барана и изготовить, что следует. Кухарь, усердный человек к пользам господ своих, начал представлять резоны, что-де мы барана зарежем, да он весь не потребится на стол, половина останется и, по летнему времени, испортится: надо будет выкинуть. «Так ты вот что сделай, – сказали маменька, не долго думавши: – заднюю часть барана употреби на стол, а передняя пусть живет и пасется в поле пока до случая». Кухарь так и расхохотался. А маменька принялись додумываться, что ему так смешно. Да как додумались и увидели, что они сказали нелепое и смешное, так махнули рукой, покраснели, как вишневка, и ушли от кухаря. После этого полно его держать: отпустили на свободу, а определили кухарку.

Пожалуйте, обратимся к своему предмету. Вот как батенька объявят маменьке о банкете, то сами пошлют в город за «городским кухарем», как всеми назывался человек в ранге чиновника, всеми чтимый за его необыкновенное художество и искусство приготавливать обеденные столы; притом же он при исправлении должности подвязывал белый фартук и на голову вздевал колпак, все довольно чистое. Этот кухарь явится за пять дней до банкета и прежде всего начнет гулять. Известно, что три дня ему должно было погулять прежде начатия дела! И чего бы он в эти три дня ни спросил, должно все ему поставить; иначе он бросит все, уйдет и ни за что уже не примется. Отгуляв три дня, приступит к работе. Узнав от батеньки,

сколько предполагается перемен при столе, он идет с маменькой в сажу^[3], где кормится живность, и выбирает сам, какую ему будет угодно. Помню и теперь, как маменька стоят у дверей сажу и, приложив руки к груди, жалостно смотрят на выбор кухаря. Когда же он заметит жирнейшую из птиц и обречет ее на смерть, тут маменька ахнут, оботрут слезку из глаз и не вытерпят, чтоб не шепнуть: «А, чтоб ты сам лопнул! Самую жирнейшую взял, теперь весь сажу хоть брось!» Впрочем, маменька это делали не от скупости и не жалея подать гостям лучшее, а так: любили, чтоб всего было много в запасе и чтобы все было лучшее. Они было и гостям хвалятся, что благословенны природою как изобилием детей, так и домашним скотом, то есть птицею и проч. На завтрашний день убывшее место в сажу наполнится птицами, которые по времени так же будут выкормлены, а о взятых все-таки жалеют. Неизъяснимо сердце, непостижим характер хозяек, подобных маменьке!

Кухарь при помощи десятка баб, взятых с работы, управляется с птицею, поросятами, кореньями, зеленью; булочница дрожит телом и духом, чтобы опара на булки была хороша и чтобы тесто выходилось и булки выпеклись бы на славу; кухарка в другой кухне с помощницами так же управляется с птицею, выданною ей, но уже не кормленую, а из числа гуляющих на свободе, и приготовляет в больших горшках обед особо для конюхов гостиных, для казаков, препровождающих пана полковника и прочих панов; особо и по вкуснее для мелкой шляхты, которые приедут за панам: им не дозволено находиться за общим столом с важными особами. Дворецкий, выдав для вычищения большие оловянные блюда с гербами знаменитого рода Халявских и с вензелями прадеда, деда, отца папенькиных и самого папеньки, сам острит нож и другой про запас для разбирания при столе птиц и других мяс. Ключник разливает в кувшины пиво и мед из вновь початых бочек, из которых пробы носил уже к папеньке и, по одобрению их, распределяет: из каких бочек подавать панам, из каких шляхте, казакам, конюхам и проч. Из бочонков же, особо стоящих и

закрывающих в себе отличные меда: липец, сахарный и т. п., будет он выдавать к концу стола, чтобы «уложить» гостей. Конюхи на конюшенном дворе принимают лучшего овса и ссыпают его в свои закрома, заботятся о привозе сена из лучшего стожка и скидывают его на конюшню, чтобы все это задать гостиним лошадям по приезду их, дабы люди после не осуждали господ: такие-де хозяева, что о лошадях и не позаботились.

Одним словом, всем и каждому пропасть дела и забот, а батеньке и маменьке – более всех. Они, каждый, за всем смотрят по своей части, все наблюдают, и беда конюху, если он принял овес не чисто вывезанный, сено луговое, а не лучшее из степного; беда ключнику, если кубки не полны нацежены, для меньшего стола худшего сорта приготовлены напитки; беда булочнице, если булки нехорошо испечены; кухарке, если страва (кушанье) для людей не так вкусна и не в достатке изготовлена. Один «городской кухарь» не подлежит осмотру: ему дана полная воля готовить, что знает по своему искусству, и делать, как умеет и как хочет. Зато уже чего требует, все в точности спешат ему выдавать, хотя маменька и не пропустят, чтоб не поворчать: «А, чтоб он подавился! Какую пропасть требует: масла! А рыжу^[4]? А родзынков^[5]? Видимо-невидимо! Охота же Миرونу Осиповичу поднимать банкеты! Шутка ли: четыре раза в год! Не припасешься ни с чем; того и смотри, что разоримся вовсе». Последние слова маменька произносили шопотом, чтоб батенька не слыхали; а то бы досталось им. Батенька хотя и были очень политичны, но когда уж им чего захачивалось, так уж поставят на своем. Маменька, не зная еще хорошо их комплекции, лет пять назад, бывало, принимаются спорить против них, – так что же?... Ну, не наше дело рассуждать, а знает про то кофейный шелковый платок, который не раз в таком случае слетал с маменькиной головы, несмотря на то, что навязан был на подкапок^[6] из синей сахарной бумаги.

Пожалуйте, о чем, бишь, я говорил? Да, о банкете... Так. Вот в этот торжественный день прежде всего, утром еще, является команда

казаков для почетного караула, поелику в доме будет находиться сам пан полковник своею особою. При этой команде всегда находятся сурмы (трубы) и бубны (литавры). Команда и устроит свой караул.

По прошествии утра днем, попозже, так часу в десятом пополудни, съезжаются званные гости. А кого только батенька не звали на банкет к себе? Верст за пятьдесят посылали, никого не пропустили, да все же и собрались. Неприлично же было такую персону, как был в то время его ясновельможность, пан полковник, угощать при двадцати только человеках; следовало и звать, чести ради гостя, хоть сотню; следовало же всем и приехать из уважения к такому лицу и сделать честь батеньке, не маленькому пану по достатку и знатности древнего рода. Кто не имел на чем приехать, тот пешком пришел с семейством, принеся в узелке нарядное платье, потому что тут в простом невозможно было бы показаться. Да посмотрели бы вы, как все гости разряжены, разубраны! Мужской пол в славных суконных черкесках темных цветов, рукава с велетами, то есть назад откидными; под ними кафтан глазетовый^[7], блестящий; много-много, когда уже на ком моревый^[8]. То платье – знаете, что при дамах неприлично называть, – красного сукна, широкое; пояса блестят, точно кованные; за поясом на золотой или серебряной цепочке – нож с богатою оправой; сапоги сафьяна красного, желтого или зеленого; а кто пощеголеватее, так и на высоких подковах; волосы красиво подбриты в кружок, усы приглаженные, опрятные, как называли тогда – «чепурные». А женский пол, в свою очередь, – это прелесть! Кунтуши^[9] богатейшей парчи, такой, что и не согнешь; на стану перехвачено, сутою сеткою выложено; корсеты глазетовые; запасочки^[10] заморских пестрых материй, плотных, как лубок. На головах кораблики или очипки парчи сутой^[11] как жар горят! Нынешние дамы не сумели бы и надеть кораблик или очипок^[12]. На шее – намиста, намиста^[13]! Дукатов, еднусов^[14], крестов! Господи твоя воля! Девушки иные –

для полегкости – без кунтушей, в одних юбках, то есть корсетах, и... как бы вам пополичнее сказать?... не стесняя натуры или природы – без рукавов. Но зато какие рукава их рубашек – это заглядение: тонкого холста, кисейные, какие можно вообразить! Да все это вышито преискусно разных цветов шелками, золотом, серебром. Головы убраны – на удивление как прелестно! Косы заплетены мельчайшими пасмами, свиты венком и уложены на макушке, а по лбу положены, одна на другой, разных цветов ленты, а поверх их – золотой газ сутой... Ну, одним словом, это прелесть! Ножки в суконных чулочках белых или синих; башмачки красные на колодочках. Из-под шелковой плахты^[15] виднеется «ляхавка», то есть подол сорочки, таким же узором вышитый, как рукава... Так этакая краля невольно обратит глаза на себя одна, а тут их собралось десятками! Не подумайте, что это они изубыточились и делали себе наряды для нашего банкета! Совсем нет! Каждая все это получила от матери, а та – от своей матери, и так все выше; теперь носит сама и передаст будущим своим дочерям и внукам. Теперешние сборы на банкет не стоили им ничего более, как кружки ключевой воды, чтобы умыться; а оделись во все готовое. Да как же они хороши! Какой здоровый цвет в лицах! Какой яркий, живой румянец в щеках! Какая свежесть в прелестных глазах! Немудрено: они ложатся спать ввечеру и с солнцем встают.

Вот такие-то гости собрались и сидят чинно. Так уже к полудню, часов в одиннадцать, сурмы засурмили, бубны забили – едет сам, едет вельможный пан полковник в своем берлине^[16]; машталер^[17] то и дело хлопает бичом на четверню вороных коней, в шорах посеребренных, а они без фореса, по-теперешнему форейтора, идут на одних вожжах машталера, сидящего на правой коренной. Убор на машталере и кожа на шорах зеленая, потому что и берлин был зеленый.

Батенька с маменькою вышли встретить его ясновельможность на рундук, то есть на крыльцо. Батенька бросились к берлину, отворили дверцы и принимали пана полковника, который вылезал, опираясь

на батеньку. Тут батенька поцеловали его руку, а он – это, право, я сам видел и никак не лгу – он, вылезши, обнял батеньку. Маменька на рундуке очень низко поклонилась пану полковнику и, когда он взошел на наш высокий рундук, бросились также, чтобы поцеловать его руку, но он отхватил и допустил маменьку поцеловать себя в уста. Этим начал он давать знать, что недавно был в Петербурге и видел тамошнюю политику. За такую отличную честь маменька опять ему пренизко поклонилась и униженно просили его ясновельможность осчастливить их убогую хижину своим присутствием. Полковник просил их итти вперед: но маменьку – нужды нет что они были так несколько простоваты, – где надобно, трудно было их провести: хотя они и слышали, что пан полковник просит их итти вперед, хотя и знали, что он вывез много петербургской политики, никак же не пошли впереди пана полковника и, идучи сзади его, взглянулись с батенькою, на лице которого сияла радостная улыбка от ловкости маменькиной.

В сенях пана полковника встретил весь мужской пол, стоя по чинам и отдавая честь поклонами; при входе же в комнату весь женский пол встретил его у дверей, низко и почтительно кланяясь. Пан полковник, вопреки понятий своих о политике, заимствованной им в Петербурге, по причине тучности своей тотчас уселся на особо приготовленное для него с мягкими подушками высокое кресло и начал предлагать дамскому полу также сесть, но они никак не поступали на это, а только молча откланивались. Наконец когда он объявил, что, бывши в Петербурге, ко всему присматривался и очень ясно видел, что женщины там сидят даже при особах в генеральских рангах, тогда они только вынуждены были сесть, но и сидели себе на уме: когда пан полковник изволил которую о чем спрашивать, тогда она спешила встать и, поклонясь низко его ясновельможности, опять садилась, не сказав в ответ ничего. К чему же было и отвечать? Если ответ должен быть утвердительный, то это и без речей показывал поклон; если же следовало возразить что пану полковнику, то, не осмеливаясь на такую дерзость, изъясняли это поклоном. Где

увидишь теперь эту утонченную вежливость? У наших молодых людей? Ой-ой-ой! Не говорите мне про них!

Заметно батенька были окуражены, что пан полковник изволил быть весел. Услышав громко и приятно поющего чижа в клетке, он похвалил его; как тут же батенька, низко поклонясь, сняли клетку и, вынеся, отдали людям пана полковника, чтоб приняли и бережно довели до дома, «как вещь, понравившуюся его ясновельможности».

Пан полковник, разговаривая со старшими, которые стояли у стены и отнюдь не смели садиться, изволил закашляться и плюнуть вперед себя. Стремительно один из бунчуковых товарищей, старик почтенный, бросился и почтительно затер ногою плевание его ясновельможности: так в тот век политика была утончена!

Немного его дом (спустя несколько) дворецкий внес большой поднос, кругом установленный серебряными позлащенными чарками; а на другом подносе несли хрустальные – помню, купленные батенькою у приходящего к нам с товарами цесарца – карафины, наполненные разных сортов, вкусов и цветов водками, нарочно для сего маменькою приготовленными. Водки не подносили никому, пока батенька и маменька из своих рук не просили пана полковника. Когда он изволил принять в руки чарку, тогда только начали подносить гостям, и каждый наливал себе желаемой водки, а батенька не престаивала упрашивать каждого, чтобы пополнее наливали.

Пан полковник был политичен. Он, не пивши, держал чарку, пока все не налили себе, и тогда принялся пить. Все гости смотрели на него: и если бы он выкушал всю чарку разом, то и они выпили бы так же; но как полковник кушал прихлебывая, то и они не смели выпивать прежде его. Когда он изволил морщиться, показывая крепость выкушанной водки, или цмокать губами, любясь вкусом водки, то и они все делали то же из угождения его ясновельможности.

Пан полковник, выкушавши водку, изволил долго рассматривать чарку и похвалил ее. В самом деле, чарка была отличная: большемерная, тяжеловесная, жарко вызолоченная и с гербом Халявских. Политика требовала и чарку отдать пану полковнику, что батенька с удовольствием в исполнили.

Вслед за тем пан полковник прошен был выпить по другой чарке. Причем батенька с униженным поклоном докладывали; «Осмеливаюсь нижайше доложить вашей ясновельможности, что по первой не закусывают», – и на сей раз пану полковнику поставили другую чарку, таковую же, и он выкушать выкушал полную, но уже не хвалил чарки. Ему последовали и прочие гости, разумея один мужской пол, поелику женщинам и подносить не смели; они очень чинно и тихо сидели, только повертывая пальчиками один около другого, – мода эта вошла с незапамятных времен, долго держалась, но и это уже истребилось, и пальчики женского пола покойны, не вертятся! – или кончиком вышитого платочка махали на себя, потому что в комнате было душно от народа.

Еще немного с годом батенька поступили к пану полковнику с докладом, что, «поставивши-де тарелки, не соблаговолите ли, ваша ясновельможность, по чарке горелки?» Тут пан полковник, привставши, сказал: «погодите», и пошли. Им пожелалось прогуляться. Такова была их натура. Лишь только пан полковник встал, то и весь женский пол поднялся, то есть с своих мест; а пан полковник в сопровождении батеньки вышел в сени, закричал караульным: «А нуте же – сурмите, сурмите: вот я иду!» И разом на сурмах и бубнах отдавали ему честь до тех пор, пока он не возвратился в покои. Что значит высокий ранг!

Пожалуйте. Прежним порядком выпито было и по третьей чарке – и вдруг засурмили и забубнили уже в сенях в знак того, что пора к обеду и первая перемена стола уставлена.

Стол был приготовлен в противной комнате, то есть расположенной чрез сени, насупротив той, где находились до обеда. По стенам были лавки и перед ними стол длинный, покрытый

ковром и сверх скатертью длинною, вышитою по краям в длину и на углах красною бумагою разными произвольными отличными узорами. На стол уставлены были часто большие оловянные блюда, или мисы, отлично, как зеркало блестяще, так вычищенные, и все с гербами Халявских, наполненные, то есть мисы, борщами разных сортов. Для сидящих не было более приборов, как оловянная тарелка, близ нее – большие ломти хлеба белого и черного, ложка деревянная, лаком покрытая, – и все это, через всю длину, на обоих концах покрывало длинное полотенце, так же вышитое, как и скатерть. Оно служило для вытирания рук вместо теперешних салфеток. Стол, кроме мисок, уставлен был большими кувшинами, а иногда и бутылками, наполненными пивами и медами различных сортов и вкусов... И какие это были напитки!.. Ей, истинно, не лгу: теперь никому и не приснится вкус таких напитков; а чтоб сварить или приготовить, так и не говорите: никто и понятия не имеет. Вообразите себе пиво тонкое, жидкое, едва имеющее цвет желтоватый; поднесите же к устам, то уже один запах манит вас отведать его, а отведавши, вы уже не хотите оставить и пьете его сколько душе вашей угодно. Сладко, вкусно, приятно, усладительно и в голове не оставляет никаких последствий!.. А мед!? Это на удивление! Вы налили его, а он чистый, прозрачный, как хрусталь, как ключевая вода. «Что это за мед?» – сказали бы вы с хладнокровием, а может, еще и с презрением. Да подите же с ним – начните его кушать, то есть пить, так от третьего глотка вы именно не раздвинете губ своих: они так и слипнутся. Сколько сладости! А аромат какой! Теперь ни от одной барыни нет такого благоухания, а откровенно сказать: когда они выезжают в люди, так это они точно имеют...

Промежду кувшинами или бутылками стоят кружки, стопы – и все серебряное, тяжеловесное, вычеканенное – различными фигурами и мифологическими, то есть ложными, божествами – и все заклеянные пышным гербом Халявских, преискусно отработанным.

Его ясновельможность, пан полковник, изволил садиться, по обычаю, на самом первом месте, в голове стола; подле него не было приготовлено другого места, потому что никому же не следует сидеть наравне с такою важного ранга особою. Женский пол замужний садились, по чинам своих мужей, на лавках у стены. Хозяин должен был крепко наблюдать, чтобы пани есаулова не села как-нибудь выше пани бунчуковой товарищкы; если он заметит такое нарушение порядка, то должен просить пани есаулову пересесть пониже; в противном случае ссора вечная у мужа униженной жены с хозяином банкета и с есаулом, мужем зазнавшейся; а если он ему подчинен, то мщение и взыскание по службе. После усевшихся женщин садились девушки также по чинам отцов своих. Мужчины, и все же по чинам, садились на скамьях, или «ослонах», против женского пола. Хозяин банкета садился на самом конце стола, чтобы удобнее вставать по разным надобностям. Хозяйка же не садилась вовсе: она распоряжалась отпуском блюд и наблюдала за всем ходом банкета. Несколько девок дворовых, прилично случаю убранных, в своем национальном, свободном везде наряде, – тогда не умели еще стесняться и шнуровать – как бы это сказать?... ну, натуры или природы, – так стояли они в углу близ большой печи в готовности исполнять требования гостей. Хозяйкин глаз наблюдал и за ними – и беда девке, зазевавшейся до того, что гость сам скажет: «Девчино! Подними мне хлеб или ложку» или что-нибудь потребует. Маменька было из другой комнаты кивнут пальцем на виновную, – а иногда им и покажется, что она будто виновата, – так, вызвавши, схватят ее за косы и тут же ну-ну-ну-ну! да так ее оттреплют, что девка нескоро в разум придет. По щекам же в таком случае никогда не били, чтоб предосудительные звуки не дошли до слуха гостей. Проученная, поправив косы и все расстроенное, опять является на свое место и стоит, как свеча.

Вот как уселися – и все смотрят на пана полковника. Он снял с тарелки ручник, или полотенце, положил к себе на колени – и все гости, обоих полов, сделали то же. Он своим ножом, бывшим у него

на цепочке, отрезал кусок хлеба, посолил, съел и, взяв ложку, хлебнул из миски борщу, перекрестился – и все гости за ним повторили то же, но только один мужской пол. Женщины же и девушки не должны были отнюдь есть чего-либо, но сидеть неподвижно, потупив глаза вниз, никуда не смотреть, не разговаривать с соседками; а могли только, по-утреннему, или пальчиками мотать, или кончиком платка махаться; иначе против них сидящие паньчи осмеют их и расславят так, что им и просветка не будет: стыдно будет и глаза на свет показать.

После первой ложки пошли гости кушать, как и сколько кому угодно. Против четырех особ ставилась миска, и из нее прямо кушали, выкидывая в тарелку, перед каждым стоящую, косточку, муху или другое, что неприличное попадется. По окончании одного борща подавали другого сорта. И скольких сортов бывали борщи – так на удивление! Борщ с говядиной, или, по-тогдашнему, с яловичиной; борщ с гусем, прежирно выкормленным; борщ со свининой; борщ Собнеского (бывшего, в Польше королем); борщ Скоропадского (гетмана малороссийского). Опять должен сделать ученое замечание: по истории нашей известно, что эти особы сами составили особого рода борщи, и благодарное потомство придало этим блюдам имена изобретателей. Рыбный борщ печерский, бикус, борщ с кормленой уткой... да уже и не вспомню всех названий борщей, какие было подают!..

Когда оканчивались борщи, то сурмы и бубны в сенях возвещали окончание первой перемены. При звуке их должно было оставить кушать и положить ложки. Гости мужского пола вставали с своих мест и становились к сторонке, чтобы дать кухарю свободно действовать. Он забирал опорожненные миски, а девки по знаку маменьки, из другой комнаты поданному и с прикриком: «девчата, а нуте! заснули?», – опрометью кидались к столу, собирали тарелки, сметали руками со стола хлебные крошки, кости и прочее, устраивали новые приборы и, окончив все, отходили в сторону. Тут, при новом звуке сурм и бубен, являлся кухарь с блюдами второй

перемены и уставлял ими стол, и тогда вставший мужской пол садился попрежнему.

За сим подносилась водка; пан полковник и гости прошены были выпить перед второю переменою.

Вторую перемену составляли супы, также разных сортов и вкусов: суп с лапшою, суп с рыжем и родзынками (сарачинское пшено^[18] и изюм) и многие другие, в числе коих был и суп исторический, подобно борщу, носивший название «Леопольдов суп»; изобретение какого-то маркграфа Римской империи, но какого – не знаю. Любопытные могут узнать наверное из исторических рассмотрений критик и споров ученых мужей.

При начале второй перемены пан полковник, а за ним и все гости, все же мужского пола, облегчали свои пояса.

При первой и второй переменах пили пиво, мед, по произволению каждого.

Несмотря на то, что у гостей мужского пола нагревались чубы и рделися щеки еще при первой перемене, батенька, с самого начала стола, ходили и, начиная с пана полковника и до последнего гостя, упрашивали побольше кушать, выбирая из мисок куски мяс, и клали их на тарелки каждому и упрашивали скушать все; даже вспотеют, ходя и кланяясь, а все просят, приговаривая печальным голосом, что конечно-де я чем прогневал пана Чупринского, что он обижает меня и в рот ничего не берет. Пан Чупринскнй, кряхтя, пыхтя и тяжело дыша силится съесть положенное ему на тарелку против силы, чтобы не обидеть хозяина.

Мясо разрезывалось на тарелке имевшимся у каждого гостя ножом, а ели – за невведением еще вилок, или виделок, – руками.

Третья перемена происходила прежним порядком.

За третьею переменою поставлялись блюда с кушаньями «сладкими». То были: утка с родзынками и черносливом на красном соусе, ножки говяжьи с таким же соусом и с прибавкою «миндалю», мозги, разные сладкие коренья, репа, морковь и проч. и проч., все преискусно приготовленное. При сей перемене пан полковник

снимал с себя пояс вовсе, и батенька, поспешив принять его, бережно и почтительно несли и чинно клали на постель, где они (то есть батенька) с маменькою обыкновенным образом опочивали. Гости мужеска пола, сняв свои пояса, прятали их в свои карманы или передавали через стол своим женам, а те уже прятали их у себя за корсет или куда удобнее было. При третьей перемене поставлялись на стол наливки: вишневка, терновка, сливянка, яблонька и проч. и проч. Рюмок тогда не было, и их не знали и их бы осмеяли, если б увидели, а пили наливки теми же кубками и стопами, что пиво и мед. Всякому предоставлялось выпить по воле и комплекции.

С прежним порядком поставлена и четвертая перемена, состоящая из жареных разных птиц, поросят, зайцев и т. п., соленые огурцы, огурчики, уксусом прилитые, также с чесноком, вишни, груши, яблоки, сливы опошнянские и других родов горами навалены были на блюда и поставлены на стол. Чем стол более близился к концу, тем усерднее батенька упрашивали гостей побольше кушать и пить, чтоб их после не осуждали, что они не умели угостить. Уже на блюдах мало чего оставалось, но батенька и остатки подкладывали почтеннейшим гостям, упрашивая «добирать все и оставить посуду в чистоте». Наконец, чтоб заставить гостей долго вспоминать свой банкет, батенька упрашивали пана полковника и гостей уже обоих полов выпить «на потуху»^[19] по стаканчику медку. Тут же, пожалуйста, какая штука выйдет: в продолжение питья наливок, как уже к пиву и меду не касались, искусно был подменен мед медом же, но другого свойства.

Прошенные гости, чтобы сделать хозяину честь и доставить удовольствие за его усердие, помня, что мед был отлично вкусен, охотно соглашались приятным напитком усладить свои чувства. Мед на вид был тот же – чистый, как ключевая вода, и светлый, как хрусталь. Вот они, наливши в кубки, выпивали по полному. Батенька, поглотив свой смех и уклонясь пану полковнику и всем гостям, вежливым образом просили извинения, что не угостили, как должно,

его ясновельможность и дорогих гостей, а только беспокоили их и заставили голодовать.

Пан полковник, быв до того времени многоречив и неумолкаем в разговорах со старшинами, близ него сидящими, после выпитая последнего кубка меда онемел, как рыба: выпуча глаза, надувался, чтобы промолвить хотя слово, но не мог никак; замахал рукою и поднялся с места, а за ним и все встали... Но вот комедия! Встать встали, да с места не могли двинуться и выговорить слова не могли. Это – надобно сказать – батенькин мед производил такое действие: он был необыкновенно сладок и незаметно крепок до того, что у выпившего только стакан отнимался язык и подкашивались ноги.

Проказники батенька были! И эту шутку делали всегда при конце стола и хохотали без памяти, как гости были отводимы своими женами или дочерьми; а в случае если и жены испивали рокового напитка, то и их вместе проводили люди.

Пана полковника, крепко опьяневшего, батенька удостоились сами отвести в свою спальню для опочивания. Прочие же гости расположились, где кто попал. Маменьке были заботы снабдить каждого подушкою. Если же случались барыни, испившие медку, то их проводили в детскую, где взаперти сидели четыре мои сестры.

«Молодые отрасли женского пола», – как их батенька называли на штатском языке, а просто «панночки», или – как теперь их зовут – «барышни», выходили из дому и располагались на присбах^[20] играть в разные игры. Которая из них была подогадливей, та привозила с собою «креймашки», и все, посадясь в кружок, играли. Это превеселая и презанимательная игра! Креймашек есть не что иное, как обделанный кружок из разбитых тарелок или кафлей, величиною в медную копейку. Каждая панночка положит перед собою один креймашек, а другой кидает вверх, и пока тот летит обратно вниз, она должна схватить лежащий и уловить летящий. В эту презанимательную игру тогдашние панночки играли хоть целый день. А теперь где вы увидите, чтобы наши барышни

занимались в креймашки? Легко станется, что они и понятия о них не имеют!.. Ужас, как свет изменился!

Пожалуйте! Пока так занималась молодость женского пола, в то время паньчи тут же на дворе между собою боролись, бегали «на выпередки» (взапуски), играли в мяч, «в скракли»... Тоже не думаю, чтобы кто из теперешних молодых, даже благовоспитанных, юношей имел понятие об этой игре! Скракли! И что это за веселая и за нравственная игра! Выбиваешь из города (то есть за черту) противной партии палки; победишь – и в награду на побежденном едешь верхом в триумфе в завоеванный город. Сколько тут мыслей, поощрения к подвигу, возмездия за ловкость! Это, должно быть, нечто из обычаев древних римлян.

А деркач! Вот игра: это умереть надобно со смеху! Вколачивают колышек в землю и к нему на длинных веревках привязывают двух паньчей и, обоим им завязав глаза, дадут в руки одному крепко свитый жгут, а другому зарубленные две палочки, чтобы терчал ими. Вот один терчит и бережется товарища; а тот, так же не видя ничего, подкрадывается и хочет его ударить жгутом – и... паф! – бьет по воздуху; а тот, изворотясь, терчит уже с другой стороны... Тот бросается туда, а этот уходит сюда... Ну, ложатся, бывало, от смеху! И попадет жгут деркача, так уже дубасит, дубасит, сколько душе угодно!.. Умора-уморою!..

Ах, сколько было подобных веселых, острых, замысловатых игр! И где это все теперь?... Посмотрите на теперешнее юношество – так ли оно воспитано? Кожа да кости! Как образованы! Не распознаешь от взрослых мужей. В чем упражняются? Наука да учение. Как ведут себя? Совсем противно своему возрасту... Об этом предмете поговорю после...

Вот панночки, соскучась, что паньчи не пристают к ним и даже не обращают на них внимания, приступают к хитростям: начинается между ними игра в короли.

– Король, король, что прикажете делать? – спрашивает каждая у избранного из них короля.

– У короля жены нет, – отвечает король.

Спрашивавшая должна бы целовать короля; но она кричит громко, чтобы панычи услышали:

– Вот еще выдумали что! Что нам целоваться между собою? Это будет горшок о горшок, а масла не будет. – Причем некоторые глядят на панычей, подходят ли они к ним, и если еще нет, то продолжают маневры, пока успеют привлечь их к себе.

Панычи с разными обходами, наконец, подошли к кругу панночек и просят «скуки ради» принять их до компании. Кружок раздвигается, панычи уселись между панночками, и начинается игра. Разными хитростями и явными неправдами король избран всегда из красивых.

– Король, король, что прикажете делать? – спрашивает первая краснея, зная содержание приказания.

Король отвечает важно:

– Короля должно шановать (почитать) и всем панночкам по семи раз целовать.

– Вот выдумали! Вот выдумали! Довольно бы и по два раза, а то по семи, – кричат бунтовщицы, но нечего делать: каждая, обтирая губки, подходит к королю и ровно, ни больше, ни меньше семи раз, целует верно, без фальши, счастливца и спокойно возвращается на свое место...

– Королю отпустить лент пять аршин! – приказывается третьей, и получившая такое приказание панночка подходит к королю, берет его за руки и протягивает их, как будто меряя на аршин и целуя при каждом отмеривании.

– Собрать подать для короля! – и король со спрашивавшею идет взыскивать с каждой подать. Получает поцелуй от каждой панночки и целует свою подругу, якобы складывая в сумку подать.

– Да не щипайтесь же, панычу! – вдруг вскрикивает из круга одна панночка, отодвигаясь от своего соседа.

– Я совсем не щипаю, а только щекочу, – отвечает проказник.

– И щекотить не прошу: я щекотки боюсь.

И много происходит тут веселых шуток. Смех, забавные речи, острые и умные слова занимают молодых людей, которые и не заметят, как день пройдет.

А ныне в каком обществе молодых людей найдете подобное препровождение времени, подобные замысловатые игры, веселость, свободу, ум, удовольствие?... Все, все изменилось!

Но вот часу в четвертом с полудня пан полковник и прочие гости, выпавшись, сходятся в большую комнату. Маменька по заботливости своей приготовили им изобильный полдник. Блины, вареники, яичницы, разные мяса холодные беспрестанно одно за другим. Теперь уже маменька хлопочут упрашивать гостей, чтобы поболее кушали, и каждому – впрочем, по рангу гостя – подкладывают отличные кусочки и поливают маслом и сметаной, более или менее, смотря на важность особы. Батенька же то и дело что обходят гостей, прося о наливках, которые разных цветов, вкусов, сортов и родов разносятся в изобилии. По очищении блюд подносится «на потуху» «вареная»... Вот опять не вытерплю, чтобы не сказать: где найдете у нас этот напиток? Никто и составить его не умеет. А что за напиток! Так я вам скажу: «вещь!» – что в рот, то спасибо! Сладко так, что губ не разведешь: так и слипаются; вкусно так, что самый нектар не стоит против него ничего; благоуханно так, что я в бытность мою в Петербурге ни в одном «козмаитическом» магазине не находил подобных духов. Дешево и ничего не стоит, потому что весь материал домашний: водка, ягоды разные и несколько ароматных произведений: перец, корица, лавровый лист. Подите же вы! И этот драгоценный по благоуханию, здоровью, вкусу и дешевый по материалам напиток откинули и погрязли в винах, якобы заморских, когда честью уверяю, что все эти вина с мудреными названиями составляются тут же на месте, у нас, и продаются по дорогой цене на вред карманам и здоровью православных. Сердце болит и душа стесняется!.. Где ты, блаженная старина?...

Пожалуйте. Вот как выкушают по несколько чашек вареной, так полковник пожелает проходиться по двору, осмотреть батенькину конюшню, скотный двор и другие заведения. Пошел – и все чиновники за ним; батенька предшествуют, а сурмы сурмят и бубны гремят в честь полковника, но уже с заметным разладом, потому что изобильное угощение было и трубящим – как казакам, конюхам и всем с гостями прибывшим людям.

На конюшне и везде пан полковник осматривая что похвалит, то немедленно выводится прочь и сдается на руки полковничьим людям, нарочно для сего прибывшим. Батенька от удовольствия даже облизываются, что их хозяйство одобряется паном полковником.

Осмотрев все, возвращаются в дом, где маменька между тем угощали женский пол... чем вздумали; и как при этом не присутствовал никто из мужского пола, то, по натуральности, дело было на порядках... И странно: перед ними стоят орехи каленые и мышеловки^[21], яблоки, повидлы (медовые варенья) разных сортов и всякая такая мебель, а наш женский пол, раскрасневшись препорядочно, щекочат, балагурят, рассказывают одна другой разные разности, и каждая, одна другой не слушая, продолжает свое. Самый приход пана полковника им незаметен, и маменька, бегая от одной к другой, удерживают их от разговоров: «Да замолчите же, пани обозная! Да перестаньте же, пани бунчукова товарищка! Вот пан полковник пришел». И в силу, в силу их ускорят.

Понявши, что пан полковник здесь, они утихнут и, как должно, вставши со своих мест, начнут манериться: и улыбаются к нему, платочками утираются и, хотя не к чему, на все кланяются, пока его ясновельможность не соизволит сесть и, почти приказом, не усадит их. Все лакомство со стола снято, и поданы блюда «подвечерковать». Ветчина, солонина, буженина, полотки, соленые перепелки и другие жареные птицы украшают стол. После нескольких рюмок водки

принимаются гости «подвечерковать» и очищают все при беспрестанном потчевании разными сортами пива и меду.

Между тем в продолжение этого времени панночки, наигравшись в короли, не имея чем заняться, «скуки ради» идут к реке, за садом протекающей, и там купаются. А панычи «для забавки» идут «в проходку» в кустарники, за рекой против самого купанья находящиеся, и там любуются рассматриванием натуры или природы. Теперь, как уже старики, известно, после подвечеркованья должны уехать, то вот вся молодежь, освежившись купаньем и налюбовавшись натурою и природою, приходит к общему собранию и снова не глядит друг на друга, потому что неблагопристойно при почтенных особах показывать, что они знакомы между собой.

Окончив последнюю трапезу, пан полковник встает, чтобы уезжать. Берлин его подан. Машталер то и дело хлопает бичом. Батенька подносят кубок, прося о полном, «чтобы в оставляемом его ясновельможности доме все было полно». При выходе в сени, на пороге, подносится кубок, «чтобы хозяйские вороги (враги) не переступали через пороги». На рундуке еще выпивается полный кубок, «чтобы изливалось изобилие на все видимое хозяйство». Дойдя до берлина, пан полковник прошен снова выпить «гладко», чтобы гладилась дорога его ясновельможности. Выкушав также до дна и сей кубок, пан полковник обнимает батеньку, а они, поймав ручку его, целуют несколько раз и благодарят в отборных униженных выражениях за сделанную отличную честь своим посещением и проч.; а маменька, также ухитряся, схватили другую ручку пана полковника и, целуя, извиняются, что не могли прилично угостить нашего гостя, проморили его целый день голодом, потому что все недостойно было такой особы, и проч. Пан полковник, преисполненный... чувствами, не может ничего выговорить, а только машет рукою и силится поднять ногу, знаками показывая, что он хочет сесть в берлин. Предстоявшие бросаются, поднимают его и усаживают. Тут батенька еще с кубком для пожелания пану полковнику благополучного пути; пан полковник, почесав чуб,

запинаясь, с трудом произносит: «Верно пан подпрапорный (батенька имели чин подпрапорного; я расскажу, как они его дослужились), верно подносит того меду, что за обедом...» Батенька предузнали вопрос его и подносили точно тот мед. Пан полковник, опорожнив кубок, тут же свалился на подушку, не сказав уже ни слова. Берлин тронулся, сурмы засурмили, бубны забубнили в честь полковника, чего он, однакоже, слышать не мог. За берлином вели лошадей, бугаев, коров, везли кабанов и все то, что понравилось у батеньки пану полковнику.

Проводив такого почетного гостя, батенька должны были уконтентовать^[22] прочих, еще оставшихся и желающих показать свое усердие хлебосольному хозяину. Началось с того, чтобы «погладить дорогу его ясновельможности». Потом благодарность за хлеб-соль и за угощение. Маменька поднесли еще «ручковой», то есть из своих рук. Потом пошло провожание тем же порядком, как и пана полковника, до колясок, повозок, тележек, верховых лошадей и проч. и проч., и, наконец, все гости до единого разъехались.

А что? Просим покорно сказать мне: есть ли теперь хоть тень подобного пиროвания, искреннего, веселого, чинного, изобильного? То-то и есть!

А вот, изволите видеть, как батенька попали в подпрапорные. Его ясновельможность, наш пан полковник, после трех-четырех банкетов у батеньки описанным порядком начал уважать батеньку, хотел вывести его в сотники, потому что батенька были очень богаты как маетностями, так вещами и монетою; так-де такой сотник комплектует сотню на славу и весь полк покрасит. Вот и прислал к батеньке универсал^[23]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ



Григорій
Квітка-Основ'яненко



ПАН
ХАЛЯВСЬКИЙ

Примечания

1

Цылюрык – цирюльник, выполнявший в те времена, кроме стрижки и бритья, некоторые хирургические операции.

[Повернуться](#)

2

Горофяники – гороховые лепешки.

[Повернуться](#)

3

Саж – хлев или перегородка для откорма птицы или свиней.

[Повернуться](#)

4

Рыж – рис.

[Повернуться](#)

5

Родзынки – изюм.

[Повернуться](#)

6

Подкапок – приспособление из твердой бумаги, надеваемое на голову для того, чтобы придать нужную форму головному платку.

[Повернуться](#)

7

Глазет – парча с шелковой основой.

[Повернуться](#)

8

Моревый – шелковый с переливчатым отблеском.

[Повернуться](#)

9

Кунтуш – род верхней одежды, иногда на меху, со шнурками, с откидными рукавами.

[Повернуться](#)

10

Запаски – полосы материи, накладываемые в виде передника.

[Повернуться](#)

11

Сутой – пышный, великолепный.

[Повернуться](#)

12

Очипок – женский головной убор.

[Повернуться](#)

13

Намиста – мониста, ожерелье.

[Повернуться](#)

14

Еднус – золотая монета, вставленная в ожерелье.

[Повернуться](#)

15

Плахта – юбка.

[Повернуться](#)

16

Берлин – карета.

[Повернуться](#)

17

Машталер – кучер.

[Повернуться](#)

18

Сарачинское пшено – рис.

[Повернуться](#)

19

На потуху – в заключение.

[Повернуться](#)

20

Присбы – заваленки.

[Повернуться](#)

21

Мышеловка – здесь: щипцы для раскалывания орехов.

[Повернуться](#)

22

Уконтентовать – убогатворить.

[Повернуться](#)

23

Универсал – указ или грамота.

[Повернуться](#)